

«В ЗАТОНАХ остывают пароходы, чернильные застывают воды, свинцовая темнеет близина, и если впрямь земля болеет нами, то стала выздоравливать она — такие звезды блещут над снегами, такая наступила тишина, и, боже мой, из ледяного плена едва звучит последняя сирена». Эти стихи были так не похожи на все остальные, напечатанные на той же странице журнала «Москва», — не помню номера журнала и года, но помню, что было это в начале 60-х. Всего одно маленькое стихотворение, над которым стояло имя неизвестного мне поэта: Арсений Тарковский. Стихи запомнились. Имя тоже. Когда я хотела записать только что сочиненные строки, я подкладывала под листок бумаги журнал с полюбившимся стихотворением. Для вдохновения...

На первом семинаре студии молодых литераторов Тарковский сказал нам: «Я

стихи, которые я ему читала, но я всегда видела, когда он по-настоящему взволнован.

Конечно, я занимаюсь зрящим трудом, пытаюсь передать словами его облик, живую мимику, жесты. Лицо Тарковского казалось чрезвычайно подвижным. В глазах была нежность, а в углах губ таилась ирония. Временами, когда он себя плохо чувствовал, глаза его были полуприкрыты и на лице появлялось страдальческое выражение. Но, услышав что-нибудь смешное, он мог мгновенно просиять и расхохотаться. Иногда он вздрагивал и стонал, жалуюсь, что у него болит нога. Ампутированная.

«Где моя палка-упалка, палка - пропалка?» — говорил А. А.: собираясь встать, он часто ронял и терял свою палку. Но и когда тяжело опирался на нее, не было ощущения, что он устойчив. И правда,

вижу, как он держит книгу своими большими сильными руками, как листает, как проводит по странице ладонью. Увы, когда десять лет спустя, в 1986 году, вышла моя вторая книга, Тарковский был уже почти отключен от внешнего мира. После операции под общим наркозом, которую он перенес в 1984 году, Арсений Александрович стал совсем плохо слышать и даже то, что слышал, не всегда понимал. Он почти не говорил. Единственной живой реакцией была паника, когда он не видел рядом Т. А. Он испуганно искал ее глазами и, как ребенок, потерявший мать, восклицал: «Таня! Танечка! Где Таня?». На это было больно смотреть. В это не хотелось верить. Иногда вдруг Тарковский оживлялся, радуясь приходу знакомых, друзей. Шутил. Но это длилось недолго. И снова на лице возникало столь несвойственное ему растерянное, беспомощное выражение. Тарковский уходил. Весна 83-го года. У меня только что умерла мама. Кто-то из друзей дал мне книгу Моуди «Жизнь после жизни». Эта книга была мне нужна как воздух. Благодаря ей мне казалось, я сохраняю

рачился, Андрей казался молчаливым и серьезным. Саша видел, как они играли в шахматы. Когда А. А. проигрывал, он так расстраивался, что даже чувство юмора ему изменяло. Он требовал новых партий и играл до тех пор, пока не выигрывал. Если же не удавалось взять реванш, Тарковский долго оставался не в духе. Я не видела, как играл в шахматы А. А. с Андреем, но знаю, что он не мог равнодушно смотреть на чужую партию...

Арсений Александрович нередко говорил об Андрее. Однажды А. А. сказал мне: «Сегодня был Андрей и рассказал сон: мы с ним по очереди ходим вокруг большого дерева: то я, читая стихи, то он. Скрываемся за деревом и появляемся снова». Сон был длинным. Я не придала этому рассказу значения и мало что запомнила. А позже поняла, что этот сон был началом «Зеркала», моего любимого фильма. А. А. видел фильм много раз, хотя это давалось ему не просто, и он всегда имел при себе валидол. Как больно смотреть «Зеркало» теперь, когда нет ни Андрея, ни Арсения Александровича, ни Марии Ивановны — матери Андрея.

своего отъезда, о своих многолетних мытарствах и горестях. Теперь это письмо опубликовано и многократно процитировано. Когда Андрей умер, Арсений Александрович уже мало осознавал происходящее. И тем не менее Т. А. боялась за него, старалась подготовить Тарковского к страшному известию. Узнав о смерти сына, А. А. плакал. И все же удар, наверное, был смягчен тем состоянием, в котором он находился. Я была у Тарковских в Переделкине, когда туда приехала Марина, только что вернувшаяся из Парижа с похорон. Она была утомлена и подавлена. Ей трудно было говорить. А. А. спал одетым на диване. Марина, несмотря на усталость, хотела дождаться его пробуждения, чтобы поздравиться и поговорить. Наконец Тарковский открыл глаза. Марина наклонилась к нему: «Папа. Папа». Т. увидев ее, спросил: «Что? Похоронили?». «Похоронили», — ответила Марина. Больше А. А. ни о чем не спрашивал.

Случилось так, что Арсений Александрович и Татьяна Алексеевна пережили своих сыновей. Андрей похоронен в Париже, а Алеша, сын Т. А., поблизости в Востряковке, куда Тарковские часто ездили. Несколько лет назад поздней осенью мы сопровождали их на кладбище; А. А. с трудом шел по размокшим от дождя дорожкам. Сперва мы навестили могилу Алеши, а потом Марии Ивановны, похороненной там же...

ПИШУ одно, а вспоминаю другое, и драматичное, и забавное, и смешное. Вспоминаю, как летом 1972 года Тарковские приехали навестить нас в Заветы Ильича, где мы снимали дачу. Мы пошли вместе на речку, и мой старший сын, которому тогда было четыре года, завел с дядей Арсением разговор о том, что каждый человек похож на какое-нибудь животное. «Ну, а я на кого похож?» — спросил А. А. «Ты?» Мой сын задумался, внимательно разглядывая Тарковского. «На обезьяну», — уверенно заявил он. А. А. расхохотался. По-видимому, он был польщен, так как любил обезьян, считал их милушками и даже держал старую плюшевую обезьяну на своем диване. Когда мы собирались уходить с речки, мой ребенок отличился снова. Он долго следил за тем, как Тарковский пристегивает протез, а затем громко спросил: «А дядя что, разборный?». А. А. всегда запомнил чужие шутки и любил их повторять. Он не терпел котурнов и даже о драматичном и тяжелом в своей жизни им говорил как о чем-то будничном и смешном. Однажды Тарковский рассказывал, как он со своими солдатами брал высоту. Мой муж спросил его: «А как вы поднимали солдат в атаку? Кричали? Приказывали?» — «Нет», — ответил Т., — я им сказал: «Ребята, надо взять эту высоту. Если не возьмем, меня расстреляют».

Даже о том, как он потерял ногу, А. А. рассказывал как о забавном эпизоде. Он уже погубил, нога загнивала, а раненых все несли и несли. Госпиталь был переполнен. Врачи не справлялись, санитары спали на ходу. Тарковского спас лежачий рядом офицер, который выхватил пистолет и, направив на вошедшего хирурга, приказал нести раненого на операцию.

Интонация, междометия, улыбка Тарковского — этого не передашь. И все же, вспоминая один эпизод за другим, не хочу отпускать их в небытие. Даже мелочи. Вот идет разговор о фильме, который Тарковский видел накануне. «Что вы вчера смотрели?» — спрашиваю я А. А. «Таня, что вы вчера видели?» Т. А. называет фильм. «Хороший?» — «Чудовищный», — отвечает А. А. «Как! Арсюша! — возмущается Т. А. — Ты вчера говорил, что хороший». — «Я же не воробей, чтоб каждый день чирикает одно и то же», — невозмутимо отвечает Тарковский. Однако были фильмы, о которых Т. А. всегда «чирикал одно и то же»: фильмы Чаплина. Как он любил Чаплина! Как оживлялся, когда говорил о нем! Я всегда вспоминала его строки из стихотворения, посвященного Манделштаму: «Так елозит по экрану с реверансами, как спящий, старый клоун в котелке и, как трезвый, прячет рану под жилеткой из пике»...

25 июня был день его рождения. Это было первое лето без Тарковского. Первый день рождения без поэта. Но без поэта ли? Ведь я слышу его голос: «А если был июнь и день рождения, боготворил я праздник суетливый, стихи друзей и женщин поздравляя, хрустальный смех и звон стекла счастливого, и завиток волос неповторимый и этот поцелуй неотвратимый...».

Лариса МИЛЛЕР.

## С ТОЙ СТОРОНЫ

Моек.  
коллегиал.  
-1989-8 нояб.

### ПАМЯТИ АРСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ТАРКОВСКОГО

он нередко терял равновесие, падал. Наверное, потому, что был импульсивен, порывист. И потому, быть может, что осмотрительность, осторожность не были свойственны ему. Т. мог полезть по приставной лесенке за книгой, лежащей на верхней полке. Мог встать на что-нибудь шаткое, чтобы починить лампу. Он ломал то руку, то ногу, но не менялся.

Вижу его большие руки. Руки мастера. Тарковский и правда многое умел делать руками. Он мне показывал журнальный столик, который сам обтесал и отполировал. Он умел переплетать книги и делал это изящно и со вкусом. В 1977 г. подарил мне рукопись только что написанной шуточной поэмы «Чудо со щеглом». Он сам переплел ее и оформил. Это был его подарок нам с мужем на наш пятнадцатилетний юбилей. Тарковский читал свою поэму вслух, хохоча так, что с трудом дочитал до конца. Он был очень артистичен. Удивительно красиво держал сигарету и ловко пользовался зажигалкой. В последние годы Татьяна Алексеевна запрещала ему курить. Он, как ребенок, пытался перехитрить ее, куря тайно и прося свидетелей его преступления не говорить Тане. «Из чего только сделаны мальчишки?». Тарковский всегда оставался мальчишкой. Если не крманы, то ящики его стола были набиты всякой всячиной: изящными зажигалками, красивыми записными книжками, разнообразными ручками, маникюрными наборами разного калибра. Он радовался красивым и экзотическим мелочам. Любил получать их в подарок и любил дарить. Когда ро-

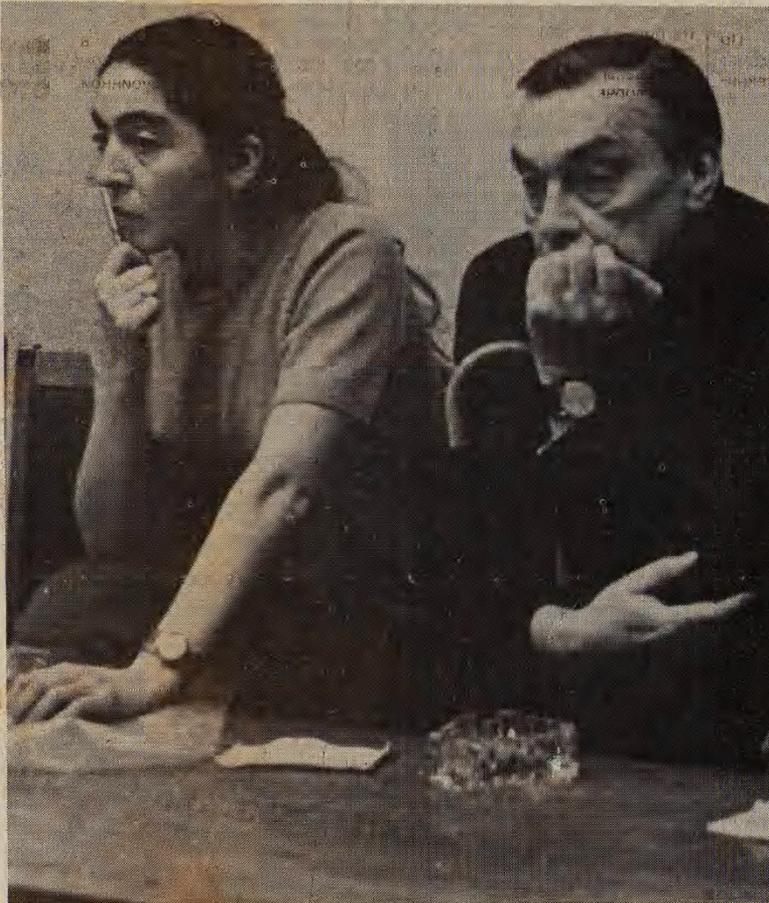


Фото А. ОГЛОВА.

## ЗЕРКАЛЬНОГО СТЕКЛА

дился мой старший сын, Т. подарил нам золоченый стаканчик с изящным рисунком и золотую ложечку с орнаментом. «На зубок», — сказал он. Но главным его богатством были книги и пластинки. Если книги были навалены всюду и везде: на полках, на столе, на кровати, на полу, — то пластинки были тщательно разобраны, расставлены по местам. На них была заведена картотека, и Т. легко находил нужную. Когда у него появлялись дубликаты, он отдавал мне старые пластинки. Они и сейчас хранятся у меня, в конвертах, на которых рукой Тарковского написано, что и кем исполняется. Однажды Арсений Александрович спросил, есть ли у меня сонаты Бетховена. Я сказала, что есть. «А кто исполняет?», — спросил А. А. Я не помнила. «Вы сами не знаете, что у вас есть», — сказал он скучным голосом. Я очень расстроилась и с той поры изучила все свои записки и пластинки.

ОСЕНЬ 1977 ГОДА. Мы с мужем едем к Тарковским в Голицыно. Я беру с собой первую книгу, которая наконец-то, после долгого ожидания, вышла. Тарковский в постели. Он недавно упал, сильно ушибся и еще малоподвижен. Арсений Александрович берет книгу в руки, перелистывает страницы, кое-где читает вслух, изучает обложку и иллюстрации. Он рад моей книге, очень ждал ее появления и немало для этого сделал.

связь с мамой. Я сидела в переделкинской келье у Тарковских и рассказывала им содержание книги. Я видела, какое впечатление производят на Тарковского мои слова. Как ему хотелось верить в Жизнь после жизни. «И я ниоткуда пришел расколоть единое чудо на душу и плоть... А сколько мне в чаше обид и труда... И после сладчайшей из чаш — нинудат».

Как-то в 77-м зашел разговор об Андрее. Арсений Александрович с грустью сказал, что Андрей давно не звонил, не появлялся и даже не знает, что отец болен и лежит в Голицыне. И, о чудо, возвращаясь в тот день из Голицына, мы оказались в вагоне метро рядом с Андреем. Я бросила случайный взгляд на рукопись, которую он читал, и увидела, что это сценарий о Моцарте. Велико было мое изумление сказать ему, что мы едем от отца, который болен и скучает, но мы не решились, так как не были знакомы. Я много раз встречала дочь Тарковского Марину, которая часто навещала отца. Мы подружались и иногда переписывались. Андрей же я видела только дважды в жизни: первый раз в Политехническом музее на вечеру Арсения Александровича, второй — тогда в метро. Мой друг Саша Радковский видел его чаще и говорил мне, что порой казалось, будто Арсений младше Андрея. Рядом с А. А., который часто шутил и ду-

не знаю, зачем мы здесь собрались. Неучить стихи писать нельзя. Во всяком случае я не знаю, как это делается. Но, наверное, хорошо, если молодые люди будут ходить сюда...». Почему-то на литобъединениях было принято нападать и кусаться. Тарковского такой тон шокировал. Было видно, что ему совсем неуютно в обществе юных волчат. Тарковский не хвалил всех подряд. Вышучивал неуклюжие строки, не пропускал ни одной плохой рифмы, но никогда не делал это грубо. Если же стихи ему совсем не нравились, он говорил: «Это так далеко от меня. Это совсем мне чужое». Арсений Александрович никогда не держался мэтром, вел семинары весело и любил рассказывать, как однажды Манделштам читал в его присутствии новые стихи: «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем! Я нынче славным бесом обуян, как будто в корень голову шампунем мне вымыл парикмахер Франсуа...».

«Почему не Антуан?» — спросил Т. «Молодой человек! У вас совсем нет слуха!» — в ужасе воскликнул Осип Эмильевич.

В присутствии Тарковского, такого артистичного, живого, ироничного и простого, смешно выглядели неубиенные поэты, которые мнили себя гениями, говорили загадками, читали туманные стихи. Однажды во время занятия, когда кто-то читал стихи, вошел один такой юный «гений», шумно подвинул стул на середину комнаты, встал со стола пеньельнику, поставил ее возле себя на пол и, усевшись, закурил. В перерыве мрачный «гений» подошел к Тарковскому и с ходу стал читать ему что-то заумное и длинное. А. А., который, видимо, надеялся в перерыве отдохнуть от стихов, покорно выслушал чтение до конца. Но когда тот собрался читать следующее, прервал его, спросив, кто он и откуда. Молодой человек сказал, что работает в подвале. «Что вы там делаете? Пытаете?» — осведомился Тарковский.

А. А. был терпим. Он не любил конфронтации, острых углов. Никогда не спорил с пеной у рта, а просто молча оставался при своем мнении. Но он бывал непримирим и определенен, когда речь шла о принципиальных вещах. Мой друг Феликс Розинер был свидетелем такой сцены на семинаре молодых литераторов в Красной Пахре в 70-х годах. На общем собрании один из участников семинара вышел на трибуну и гневно заявил, что накануне вечером имрек пел под гитару антисоветские песни. «За такие песни расстреливать надо!» — кричал обличитель. И тут из зала раздался громкий голос Тарковского: «Того, кто говорит, что за песни надо расстреливать, необходимо немедленно лишить слова».

Шли годы. И все это выморочное время Тарковский оставался для нас заповедником, где мы находили то, что исчезало на глазах: корневую, нерушимую связь с Русской и Мировой Культурой, благовоенное отношение к Слову, Музыке, Жизни. Арсений Александрович не любил пафоса, и мы ему никогда не говорили высоких слов, хотя каждый из нас понимал, что такое Тарковский. Его присутствие на земле всеяло надежду. И он сам всегда призывал надеяться, не опускать рук, хотя вовсе не был оптимистом. Вот как он надписывал свои сборники:

«...С надеждой добра и пожеланием счастья, в ожидании новых стихов и книги, с заветом писать во что бы то ни стало... 18.8.69».

«...с неистребимой верой в физическое бессмертие произведений подлинного искусства, в неодолимую силу их духовности, в то, что грядущему они — хлеб насущный... 7.2.1975».

Я всегда показывала Тарковскому свои новые стихи. Сперва читала их сама, потом он брал листки у меня из рук и прочитывал про себя или вслух своим особым вибрирующим голосом. Последние две строки он обычно произносил медленно и тише, как бы замирая к концу и возвращая стихотворение туда, откуда оно пришло: в тишину, безмолвие, небытие. Тарковский редко ругал